

## II\*

...Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей, кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом гегелевской философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

*Станкевич*, один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен — из него вышла целая фаланга ученых литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непониманья, был *Грановский*; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистичес-

---

\* *А.И. Герцен*. «Былое и думы».

кий идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направлено совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они *сегодня, а мы уже вчера*, и требуя безусловного принятия феноменологии и логики Гегеля и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях логики, в двух эстетики, энциклопедии и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о *ее по себе бытии*». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.

Молодые философы приняли какой-то условный язык, они не переводили на русский, а перекладывали целиком, да еще для большей легкости оставляя все ла-

тинские слова *in studo*, давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать потому, что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же, да еще удивлялся, что известный астроном Перовошиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоишущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте».

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и понимание; отношение к жизни, к действительности, сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простых вещей, над которыми так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля со студентом. Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывающаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, к «гемиоту» или к «трагическому в сердце»...

То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно,

как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество Божие», «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер поэт субъективный, но его субъективность объективна, и *vice versa*, все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и ответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова Павла: «Нет власти, как от Бога». Но если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая тавтология; но тавтология или нет, она прямо вела к признанию предрержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, — этого-то и хотели берлинские буддисты. Как такое воззрение ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский, самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и несамобытные; в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что самодержавие, под которым мы живем, разумно.

— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне *Бородинскую годовщину* Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нам последний яростный залп в статье, которую назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, — его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость *ex ipsa fonte libere* и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, *не переживший* феноменологии Гегеля и противоречий общественной экономики

Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции; она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя.

Через несколько месяцев после отъезда Белинского в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна — он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец, он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я, мы не были большие дипломаты, — в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о бородинской годовщине. Белинский вскочил со своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава Богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла: тричетыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? — Это автор статьи о бородинской годовщине? — спросил его на ухо офицер. — Да. — Нет, покорно благодарю, — сухо ответил он. — Я слышал все и не мог вытерпеть, я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как и следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное, plus royalistes que le roi — они с мужеством несчастья старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести. Другие сделались православными славянофилами.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева, является выстрадавшее, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического воодушевления. Разбираемая книга служила ему, по большей части, материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди вот какие» в Онегине, чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая

верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем, так катаньем, не антикритикой, так доносом. Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяние их дорогие *задушевные* мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую Анненской лентой.

Как же они за это его и ненавидели!

Статьи Белинского судорожно ожидалась молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные Записки»; тяжелый номер рвали из рук в руки: «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четыре верований, *уважений* как не бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте: «Когда же к нам, у меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это был сильный боец: он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться

ся, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла. Бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми малосимпатичными, снедаемый болезнью, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей...

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года; он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых; он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

*А. И. Герцен*